
Ж. ЛАКРУА

СМЫСЛ ДИАЛОГА*

Ирония и юмор

Тот, кто не отделен от того, что он делает, — потерянный человек: терять себя — значит всегда терять себя в собственном деле, даже если оно и устремлено к тому, чтобы сравняться с универсумом. Дух — это именно то, что никогда не исчерпывает себя ни в каком произведении, что всегда остается по ту сторону своих творений. Принять себя всерьез, т.е. подчинить себя тому, что делаешь, — это для человека начало конца: ирония и юмор являются выражением верховенства субъекта, тогда как серьезность — это подчинение объекту. Отсюда ценность иронии и юмора, являющихся интеллектуальными формами отделения. «Свобода, как и разум, существует и проявляется только через беспрерывное пренебрежение к собственным произведениям, — говорил Прудон. — Она губит себя сразу же, как только начинает обожать себя. Вот почему ирония во все времена была характерной чертой свободного философского гения, печатью человеческого духа, непобедимым орудием прогресса. Остановившиеся в развитии народы, все без исключения, были народами, лишенными иронии и юмора».

Суть иронии и юмора в несогласии с миром: они свидетельствуют о верховенстве духа. Человек — это такое существо, которое

* Lacroix J. *Le sens du dialogue*. — P., 1962.

Печатается по: Культурология: Дайджест. — М., 2002. — № 1(20). — С. 123—128.

держится на расстоянии от мира, от другого, от самого себя. Держаться на расстоянии – значит быть способным на отступление. В иронии, как и в юморе, налицо такое отступление. Ирония, говорили когда-то, – это сознание, ибо сознание – это чувство некоторого расстояния от самого себя и стремление приблизиться к себе: ее можно определить как способность к отступлению. Быть способным не принимать себя таким, каков ты есть, а задавать себе вопросы относительно собственной ценности и заполнять расстояние, отделяющее нас от самих себя, – это и есть собственное призвание человека, а оно означает способность к иронии. В этимологическом смысле слова ирония – это вопрошание, а человек является существом, способным отвечать самому себе, а следовательно, задавать себе вопросы. Сократ задавал вопросы другим только для того, чтобы в один прекрасный день они смогли вопрошать себя сами. Человек именно то существо, которое способно спрашивать самого себя относительно собственного бытия, ставить его под сомнение. Даже его собственное бытие состоит в том, чтобы не быть тождественным самому себе, чтобы иметь возможность ставить его под вопрос, чтобы вновь и вновь превосходить его. Ирония – это первый шаг к духовной жизни.

Однако отступление в иронии может быть и опустошением. Отделяясь, она рискует привести к изоляции, а изолированное существо очень скоро придет к тому, что предпочтет себя всем другим. В таком случае ирония ведет к неприязни. И если верно, что ирония – это «абсолютное начало личностной жизни», то верно и то, что она рискует также замуровать нас в собственной индивидуальности. Ставится понятным, почему Кьеркегор боялся в иронии абсолютной негативности: сущность иронии, говорил он, состоит в отрицании сущности. Точка зрения иронии как таковой – это *nil admirari*, а кто ничем не восхищается, тот ничему не способен посвятить себя. Личность, которая презирает все и даже самое себя, может вести только к небытию. Через иронию надо пройти, но ее также надо преодолеть. Ирония должна быть моментом в личностной жизни, но таким моментом, которым надо овладеть.

Понимаемая таким образом ирония есть юмор. И если отступление в иронии нередко оборачивается гордыней, то отступление в юморе – это любовь. Юмор и ирония отделяют, отсоединяют, изолируют. Однако в юморе изоляция смешивается с симпатией, грустью и

любовью. В глубине юмора всегда живет чувство общности с другими людьми, в нем присутствует не только идея Я, но и идея Мы. Юмор никогда не обходится без некоторого соучастия и скрытого сговора с тем, над чем насмехаются; отделяя, он не уничтожает привязанности. На известной английской гравюре, где муж и жена беседуют на склоне лет у огнька, муж, не задумываясь, провозглашает: «Когда один из нас умрет, я отправлюсь жить в деревню». Кто не почувствует тайную предрасположенность автора к мужскому эгоизму? Но он сам причастен тому, над чем подсмеивается, он берет на себя часть возмездия. Юмор — друг того, кого он карает, его ирония сама себя побеждает и соучастует в том, что отрицает.

Иронизирующий человек не обладает чувством бытия: он лишает мир всякой субстанциальности и удовлетворяется своим всеохватывающим сомнением. Юморист в известном смысле более суров: он осуждает грех, но постоянно осознает, что и сам к нему причастен; мир греха — мир глубинный, где все люди могут чувствовать себя виновными, не расставаясь тем не менее с надеждой. Юмор более, чем ирония, принимает во внимание человеческую слабость, а потому и избегает гордыни, не отрекаясь от человечности. Ирония есть признак духовности, однако если иронии подвергается все и вся, это свидетельствует о кризисе духовной жизни. В своей иносказательной манере Кьеркегор говорил, что ирония — это место перехода от эстетического к этическому, а юмор — это место перехода от этического к религиозному. Он хотел подчеркнуть, что человеческий дух сам изобретает иронию, но овладеть ею и одержать над нею победу он может только с помощью Бога. В иронии часто верх берет разумный скептицизм, а юмор, преодолевающий скептицизм, свидетельствует в пользу веры.

Два вида подражания

Я охотно определил бы человека, как существо, способное к подражанию. Кто бы мог представить себе, что именно подражание открывает одновременно и самую тайну человека, и противоречивую природу его как думающей машины. Дело в том, что существуют два вида подражания: один, почти патологический, проистекающий из внушения и гипноза; другой — выражение воплощенного духа, возникающий из симпатии и доходящий до обожания.

Первый – это всего лишь форма помутнения разума, это преобладание в нас жизни спонтанной над жизнью осмысленной. Дух – это прежде всего способность к приостановке, торможению, ожиданию, отступлению и обходному маневру. Любое ослабление этой способности духа означает низведение человека до уровня машины, которая неизбежно осуществляет то, что ей внушается. Поэтому гораздо важнее установить сам факт действия идеи в нас, чем восприятие ее негативным или позитивным образом. Например, ребенок после того, как он долго наблюдал за своим товарищем, качающим головой, в конце концов приходит к тому, что подражает его движениям, «потому, – говорит он, – что не хочу делать, как он». Это образ нашего времени. Подобно тому как человек, терзаемый головокружением, начинает делать вид, что падает, а затем действительно падает, так и несчастное человечество, лишенное всякой духовности, начинает подражать тому, что его приводит к безумию еще до того, как полностью лишится разума: именно по мере того как дух покидает нас, ложная идея проникает в умы и приводит людей в движение без их ведома. Наш мир – это мир помутившегося разума, т.е. мир воображения, которое действует автоматически. Современный мир открыл тайну, обладающую мощной силой, о которой до сих пор и не подозревали: достаточно, скажем так, лишить человека духовности, чтобы заставить его подражать чему угодно. А поскольку такой опыт оказался однажды испробованным, то, кажется, уже ничто не способно его остановить, ибо подражание способно подражать самому себе до бесконечности, вовлекаясь в своего рода адский круговорот. Повторение заменило выбор, бездумность – размыщление, подражание – волю, и все это приобрело такие масштабы, что готово выдавать себя за истинное слово властелина. Нынешние люди – жертвы некоего социального гипноза – предстают как существа, подверженные галлюцинациям, пораженные одной и той же заразной болезнью, идущие в ногу в одном строю, в одном, неведомом им направлении.

Но подражание может быть также и формой симпатии. Между симпатией и заразительностью, что бы по этому поводу ни думала упрощенческая психология, есть коренное различие. В самом деле, симпатия заключается в том, чтобы испытывать воздействия точки зрения другого. В заразительности эмоции и действия, конечно, простираются вширь, но при этом каждый продолжает стоять на собст-

венной точке зрения; в симпатии же, напротив, появляется новая система отсчета, представляющая собой личность другого как таковую. Поэтому правильно говорить о заразительности зевоты или безумного хохота, но не менее правильно здесь говорить и о подражании. Подчиненное духу подражание оказывается источником всякого прогресса, и дух использует его. Вот почему противопоставление подражания изобретательности, которое предложил Тард, является весьма схематичным, так как подражание уже означает изобретательность или, по меньшей мере, делает ее возможной.

Всякое духовное деяние с самого начала несет в себе определенную долю подражания. Знать и любить можно лишь то, чему можно подражать, лишь то, по образу чего можно моделировать собственное поведение. Воспринимать – значит создавать образ объекта, воспроизводить его. Вся наша мускулатура и особенно наша рука выясняет и обрисовывает особенности форм, которые мы воспринимаем. Не бывает восприятия без движения подражания. Чисто автоматическое подражание, которое лишь отражает тему, не внося в нее никаких изменений, – это всего лишь чудовищное выпячивание только одного существенного момента восприятия. А поскольку восприятие – это только один из ракурсов действия, воображать таким образом – значит и воспроизводить; к примеру, воображая яблоко, чтобы не сказать – имитируя его, закруглять ладонь, чтобы придать ей форму яблока. Подражание, сопровождающееся симпатией, – это уже попытка создания нового, которое пока еще ищет себя, но уже мало-помалу и осуществляет себя: чтобы прийти к творчеству, надо начинать с воспроизведения.

Не так ли, впрочем, формируется и личность? Вначале подражая родителям, затем воображая их, исходя из того, что он сам в себе обнаруживает, ребенок творит себя в качестве самостоятельного существа. Он достигает самосознания лишь в тот момент, когда благодаря подражанию переносится в личность другого: он видит и делает себя человеком среди людей, а отношение, устанавливаемое им между образцами, которым он подражает и которые он воображает на основе своего собственного опыта, мало-помалу вынуждают его Я выйти за пределы бессознательного. Некоторым образом ребенок первоначально полагается целиком на разум родителей, а первичное воспитание – это всего лишь постепенное овладение разумом, совершающееся благодаря подражанию. Подражая улыбке матери, ребе-

нок впервые проявляет себя как существо, наделенное психикой, а учась разговаривать, он, в сущности, подражает звукам. Одновременно с этим подражание идет и от субъекта: оно основано на его спонтанности и своеобразии. Так, животное не учится ни улыбке, ни речи, хотя и способно на автоматическое подражание в силу его заразительности. Подобно тому как человек может получить лишь то, что он способен получить, подражать он практически может лишь тому, что уже почти готов сам создать. Ребенок не подражает чему угодно, а лишь тому, что в некотором роде уже есть в нем самом, что соответствует его потребностям. Человек является социальным не потому, что подражает, он подражает потому, что является существом социальным. Мы подражаем в той мере, в какой уже знаем, в какой предчувствуем свои возможности и желаем их реализовать. Всякое познание, будь то познание самого себя, начинается с подражательного жеста, который постепенно упрощается и обеспечивает четкое осознание, становясь знаком. Человек может осуществлять познание, если он уже в состоянии откликнуться на то, что хочет познать, и именно эта первичная форма отклика является подражанием. Если мы, познавая объект, вынуждены начинать с подражания ему, то это происходит потому, что мы познаем его не только своим умом, но и всем своим существом, душой и телом. Подражание – это признак целостного вовлечения.

Отсюда и его уникальная нравственная ценность. Без подражания нравственность была бы лишь абстракцией, принадлежащей сфере закона; благодаря подражанию, как это уже хорошо понял Бергсон, нравственность становится самой личностной жизнью. Нравственная личность начинает вырисовываться с того момента, когда усваивается та или иная модель. «Желание быть похожим, которое в идеале является создателем искомой формы, уже есть сходство; слово, которое усваивается, это слово, отклик которого уже услышан внутри себя». Там – и только там – устанавливается подлинная связь между искусством и моралью, которой нередко пренебрегают. Прекрасное произведение укрепляет нравственность уже потому, что прекрасно и зовет к подражанию. «Перед лицом Аполлона Бельведерского, – говорил Винкельман, – я безотчетно выпрямляюсь и принимаю благородную позу». Греки прекрасно поняли это и размещали в свадебной комнате прекрасные полотна, полагая, что воспитание начинается с подражания наисовершеннейшим моделям.

Дело в том, что восхищение – это подражание, которое иногда путают с заразительностью, в то время как это – противоположные понятия. И именно восхищение лежит в основе не только искусства, но и нравственности. Именно в подражании природе Аристотель видел принцип всех искусств; и никому не дано стать мастером, если не будет пройден этап длительного подражания великим из великих. Разве же удалось бы Андре Жиду высказать похвальное слово влиянию, не прибегая ни к каким парадоксальным выражениям?

Перевод с французского В. Володина